

**Г. М. ФРИДЛЕНДЕР В МОЕЙ ПАМЯТИ
СКВОЗЬ ДОЛГИЕ ГОДЫ ОБЩЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА**

Первую робкую попытку познакомить меня с Георгием Михайловичем Фридлиндером сделала моя старшая сестра, когда мы с нею спускались по широкой лестнице известной петербургско-ленинградской школы Петершуле (Peterschule). Дети нашей семьи, я, мои сестры и брат, как и Юра Фридлиндер, учились в этой школе. Моя старшая сестра — в одном с ним классе. У нее не было серьезных намерений нас познакомить, но она сказала, указав на ученика, который, сгибаясь под тяжестью ранца, подымался по лестнице: «Фамилия этого мальчишка Фридлиндер». Он не обернулся на эту реплику, и мое с ним знакомство состоялось лишь через много лет и совсем в другой обстановке. Однако у нас с ним в отроческие годы независимо друг от друга сформировался запас общих впечатлений и воспоминаний, что было значимо в той жизни, в которой «неизреченная мысль», не высказанные, но понятые слова имели не меньшее значение, чем словесный обмен мнениями. Такой «разговор», иногда мысленный, а иногда лаконичный, хотя и словесный, запоминается надолго. Так, через много лет после окончания школы, когда годы пребывания в Петершуле уже вспоминались рождественскими-новогодними елками и стихами немецких поэтов, Георгий Михайлович заговорил со мной об учителях этой школы, которых мы любили, и, понизив голос, рассказал о трагической судьбе некоторых из них.

В одном из таких разговоров в фойе филармонии я вспомнила и рассказала ему, как мне показала его в первый раз сестра. Г. М. неожиданно с большим чувством отозвался на мой рассказ и в свою очередь рассказал мне, как он в детстве ездил в школу на трамвае с Васильевского острова, ждал трамвая, мерз и затем бежал к школе, ощущая тяжесть ранца и скользя по перемерзшей панели. К этому времени мы были уже давно знакомы, но ни разу до того я не слышала, чтобы Г. М. так подробно говорил о себе. Я познакомилась с Г. М. лет за десять до того времени, когда происходил этот наш разговор в филармонии. Познакомили меня с ним мои сокурсники, которые стояли в группе в коридоре филологического факультета и весело общались. Дело было в 1935 г., мне было 18 лет, и я была студенткой 2-го курса филологического факультета. Г. М. подошел к нашей группе, остановив свое быстрое движение мимо нас, и поздоровался с некоторыми студентами и девушками, стоявшими рядом со мной, но, как с незнакомой, не поздоровавшись со мной. Это было замечено, и кто-то галантно представил ему меня, сказав: «Это Лида

Лотман!». После этого Г. М. продолжал свое быстрое движение по коридору, а мои товарищи, заметив, что я не оценила в должной мере это новое знакомство, поспешили меня просветить относительно его репутации на факультете и значения этого человека в студенческой среде. Один из них сказал: «Это совершенно гениальный парень. Он составляет и комментирует хрестоматию „Карл Маркс и Фридрих Энгельс об искусстве“, при этом читает основоположников марксизма в подлиннике». Одна девочка робко добавила: «Он читал „Коммунистический манифест“ по-немецки». Кто-то добавил: «Я думаю, что он и „Капитал“ Маркса читал по-немецки».

Это последнее предположение повергло меня в трепет. На семинаре по политэкономии, которым руководил старый знаток творчества Карла Маркса (может быть, еще с дореволюционных времен), доцент Берлович, мы изучали «Капитал». Руководитель семинара хотел нас научить не только цитировать Маркса и повторять его формулировки, но своими словами передавать суть его концепций. Это давалось нам с трудом, и представить себе, что я читаю Маркса по-немецки, я не могла. Юра Фридлиндер ставил перед собой иную, чем мы, «школяры», задачу. Он внимательно следил за спорами по вопросам эстетики и литературной политики, которые сотрясали идеологию современности в пору нашего студенчества.

За право определять принципы и нормы новой пролетарской литературы шла усиленная борьба разных политических и литературных группировок, которая принимала все более ожесточенный характер. Какое-то время казалось, что верх решительно берут наиболее левые взгляды, утверждения прямой зависимости носителей культуры от их социальной принадлежности и характера искусства и литературы от чисто политической и социальной их ориентированности. Логика развития искусства, законов творчества, его восприятия и другие вопросы такого рода решительно выводились за грань проблем, требующих рассмотрения и осмысления. Эстетика полностью подменялась упрощенной социологией и политикой. Укрепление подобных теорий и господство их в критике и в работах, авторы которых считали себя идеологами и историками, стимулировались ожесточенной борьбой с так называемым формализмом, т. е. с теми филологическими исследованиями, где в острой политической форме в качестве главного, определяющего момента выдвигалась специфика художественного развития литературы и искусства, разнообразие их форм и средств выражения ими содержания.

Нападения на формалистов и очень резкая, уничтожающая их критика, доходящая до «разоблачения», поощрялась руководящими правительственными теоретиками. Социологи заняли господствующее положение в критике и публицистике. Но чем прочнее чувствовали себя теоретики такого социологизма, «выбившиеся в начальство», тем слабее было их положение объективно. Партийно-

правительственные «верхи» традиционно давали понять, «кто в доме хозяин», и не поддерживали претендовавших на слишком большой авторитет посредников — «агентов влияния».

Падение вульгарно-социологических теорий было предопределено не этическими или эстетическими причинами, а пороками самого метода, которые обнаруживались все более очевидно по мере развития литературного процесса. Это видели даже студенты. Г. М. Фридлендер уже в студенческие годы стал одним из последовательных критиков «вульгарного социологизма» на факультете. Его кругозор и политико-философская начитанность были гораздо шире, чем у большинства студентов. Он был убежденным марксистом и верил, что изучение Маркса даст ключ к решению всех современных споров, откроет путь к истинному марксизму и его гуманитарному содержанию. Убежденность его в плодотворности теории, которой он владеет, была столь незыблема, что он немедленно приступил к практическому решению современных вопросов на основе этого метода. Во главе своих товарищей-студентов, признававших его авторитет, он принялся за труд, который должен был содержать основы истинно марксистского подхода к проблемам эстетики. Уже на этой стадии своих занятий Фридлендер придавал большое значение политической составляющей своего «проекта». Автор содержательного очерка о студенческих годах кружка, который сформировался вокруг этого талантливого студента в начале 1930-х гг., А. Тамарченко вспоминает:

«Роль искусства как формы освоения мира и задача внутренне-го обогащения и развития каждого человека становились главными. Так это по крайней мере сложилось в наших головах. Поэтому мы вообразили себя великими открывателями, т. е. почувствовали себя теми поручиками, которые втроем идут в ногу, тогда как полк почему-то идет не в ногу. Мы думали даже послать работу, которую напишем, ни много, ни мало, как самому Сталину».¹

Эта наивная затея не была осуществлена, но вытекала из высокого мнения о политическом значении их труда, которое прочно сложилось в этом молодежном кружке. К счастью, в 1933 г. вышла книжка двух известных теоретиков — специалистов по западной литературе М. А. Лифшица и Ф. П. Шиллера, содержащая избранные цитаты из произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, касавшиеся вопросов эстетики. Юные теоретики решили послать свою работу М. А. Лифшицу, так как узнали, что он работает в Институте Маркса и Энгельса.

К тому же самое появление сборника цитат классиков марксизма свидетельствовало о том, что среди московских философов

¹ «Pro memoria»: Памяти академика Г. М. Фридлендера. СПб., 2003. С. 326.

возник интерес к тем же проблемам, которые ставил перед собой студент Фридлиндер. Получив статью авторов — Фридлиндера и Я. Бабушкина, — Лифшиц прислал в адрес деканата филологического факультета отзыв, в котором высоко ее оценил, а познакомившись лично с молодыми теоретиками в один из своих приездов в Ленинград, способствовал их привлечению к работе над хрестоматией «Маркс и Энгельс об искусстве и литературе». Эта большая книга, в которой тексты с тщательностью подбирал Юра Фридлиндер и где он и его товарищ А. Выгодский были авторами обширного комментария, стала для нас, студентов, обязательным пособием. Цитаты из Маркса и Энгельса, собранные Фридлиндером в этом издании, впоследствии многие годы путешествовали по работам, в которых авторы пытались опереться в своих суждениях на классиков марксизма.

Таким образом, еще студентом Юра Фридлиндер на равных вошел в круг известных философов — марксистов Москвы — друзей популярного марксиста Европы Дьердя Лукача. Ленинградский студент участвовал в обсуждении философских проблем в кругу высокообразованных специалистов и укреплялся в своем интересе к сфере их занятий и в уверенности в своем призвании. Его авторитет на факультете возрос, круг его друзей и единомышленников стал шире. Он ощущал себя идеологом нового течения в марксизме, при этом он и его единомышленники «считали себя вполне легальными мыслителями».² Впоследствии, в зрелые годы он придавал большое значение своей борьбе с вульгарным социологизмом. Однако в его личном развитии более явную роль сыграл опыт его работы над комментарием, где он проявил способность к анализу, интерес к историческим обстоятельствам, к обстановке, в которой формировались идеи Маркса и Энгельса, любовь к конкретному материалу, к фактам. Эта сторона его ранней работы определила возможность его возвращения к ней через ряд лет, использование в докторской диссертации обобщений и наблюдений, сделанных им на основе фактов, которые он изучал на студенческой скамье, и издание им зрелой книги «К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы» (1962).

В студенческие годы мы с Г. М. очень мало общались, можно сказать, почти не общались. Встречаясь на лестнице или в коридоре, мы здоровались, но он знал обо мне только, что я — Лида Лотман, а я о нем, что он — Фридлиндер — гениальный парень, который комментирует Маркса. У каждого из нас было свое окружение. Его окружала плотная группа поклонников и единомышленников, меня — мои друзья, с которыми я была связана общими студенческими буднями — занятиями, чтением огромных списков литератур-

² Там же.

ных произведений и научных книг и статей по специальности, — учебников тогда почти совсем не было, и мы читали в Публичной библиотеке произведения писателей XVIII в. в старинных изданиях, дореволюционные издания обобщающих трудов по истории литературы, книги авторов 1930-х гг. по поэтике и монографии по конкретным вопросам литературоведения. Лекции наших профессоров, которые перед студентами выступали со смелыми новыми концепциями — результатом их научного творчества, — в своем большинстве нравились нам, вызвали оживление в нашей среде и побуждали подражать учителям и по-своему трактовать отдельные конкретные темы. Научные кружки и семинары проходили в оживленном обсуждении и спорах. Наши профессора критиковали наши опыты и поощряли наиболее удачные из них. В своем большинстве эти опыты были реакцией на вопросы, которые ставились в лекциях, и выполнением заданий наших преподавателей.

Таким образом, литературные проблемы нас интересовали значительно больше, чем вопросы философии и политики.

В молодости, когда человек еще не знает, как в будущем сложится его судьба, он, как правило, охотнее идет на эксперименты, меняет сценарий своего поведения, свои решения. В решениях, которые принял Георгий Михайлович, проявились некоторые характерные черты его творческой личности. По окончании университета он поступил в аспирантуру, куда устремились и другие студенты филологического факультета, прилежно учившиеся и проявлявшие интерес к научным занятиям. Сферой своих занятий он избрал не социальные и эстетические проблемы, вызывавшие горячие споры и публичные обсуждения, а чисто историко-литературную область и тему из этой области — сборник Гоголя первой половины XIX в. «Арабески». Своим научным руководителем он пожелал видеть профессора В. В. Гиппиуса, в семинарах которого принимал участие. Казалось бы, это традиционное решение и обычное поведение студента, отлично окончившего филологический факультет. Но при более внимательном рассмотрении обнаруживается глубокая продуманность этого решения. Свое сотрудничество с Василием Васильевичем Гиппиусом он мыслил не как обычные взаимоотношения ученика и учителя, а как диалог философов, эстетиков разных поколений и эпох. Очевидно, он уже тогда знал о Гиппиусе гораздо больше, чем я, которая тоже слушала спецкурс этого профессора и впоследствии совершенно независимо от Фридлендера тоже захотела, чтобы руководителем моим в аспирантуре стал тот же Гиппиус. Я исходила из совсем других соображений, чем Г. М., мне казалось, что этот молчаливый и замкнутый человек — хороший ученый и очень строгий учитель, и я про себя решила, что к тому, что я напишу, он отнесется с самой высокой требовательностью. Должна сказать, что В. В. Гиппиус отнесся ко мне с большим доверием и

уже во время моего пребывания в аспирантуре способствовал тому, что мне поручили писать статью для коллективного труда института «История русской литературы», а затем благожелательно отозвался о моей статье.

Г. М. был гораздо ближе, чем я, знаком с Гиппиусом. Уже в студенческие годы, будучи слушателем его спецкурса по Гоголю и участвуя в его семинаре, он вел с профессором беседы и споры, излагая ему свои идеи об «истинном марксизме». Ближайшим друзьям он с гордостью сообщил, что Гиппиус признал воздействие студента на его отношение к марксизму. Вот как об этом сообщает член ближайшего кружка Фридендера А. Тамарченко: «Гиппиус впоследствии говорил, что Юра существенно изменил его отношение к марксизму».³ Можно, впрочем, предположить, что профессор испугался настойчивости студента или впоследствии аспиранта.

Избрание Георгием Михайловичем в качестве диссертационной темы сборника «Арабески» было тоже всесторонне обдуманно. Этот сборник был Гоголем составлен своеобразно: в нем совмещались художественные повести с эстетическими и историческими статьями. Наряду с темой Петербурга в сборнике присутствовали теоретические обобщения и эстетические рассуждения. Это давало диссертанту основание обратиться к таким интересующим его вопросам, как проблемы исторических закономерностей, мнения немецких мыслителей об истории, т. е. к тому, чем он занимался в процессе изучения наследия Маркса.

Теоретическая направленность его кандидатской диссертации отражена в самом ее заглавии: «„Арабески“ и вопросы мировоззрения Гоголя петербургского периода» (защищена в 1947 г.), так же как впоследствии теоретический аспект уже с несомненной определенностью присутствует в заглавии его докторской диссертации «К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы» (защита в 1963 г.). Эти диссертации и их защиты были позже, а пока, когда я по окончании университета поступила в аспирантуру, а Г. М. уже был аспирантом, мы стали чаще встречаться и общаться, хотя я была аспиранткой Пушкинского Дома Академии наук, а он оставался при университете. В Пушкинском Доме в это время были сосредоточены лучшие силы литературоведческой науки, многие ученые совмещали службу в университете с сотрудничеством в научном учреждении — Институте литературы Академии наук СССР — Пушкинском Доме. Здесь были знакомые и друзья Георгия Михайловича, которые дружили и со мною. Но главное — здесь было немало заседаний и конференций, которые интересовали научную молодежь этих «родственных» учреждений. Встречаясь, мы обсуждали некоторые доклады в «своем кругу», иногда свободно критикуя признанных ученых.

³ Там же. С. 330.

Особенно резким и язвительным на этих частных обсуждениях бывал приятель Г. М. Фридендера, его товарищ по университету Павел Громов. Я познакомилась с ним еще в студенческие годы в литературном кружке, когда я имела неосторожность прочесть свои школьные стихи. Он отозвался о них с обидной насмешкой, а меня резко отчитал. Впрочем, через несколько дней он по собственной инициативе подошел ко мне и заговорил в коридоре филфака вполне дружелюбно.

В коридорах Пушкинского Дома я уже и с ним, и с Г. М. Фридендером встречалась как со старыми знакомыми, чуть ли не как с приятелями. Трудно было бы найти менее похожих людей, хотя оба они были философами, мыслящими большими обобщениями; но то, что составляло для Фридендера центр круга его философских интересов, было совершенно чуждо Громову. Он весь был погружен в философию начала XX в. и в поэзию Серебряного века, которую Г. М. тоже знал в отличие от большинства моих ровесников и меня в том числе. Эта поэзия не печаталась, и я ее знала только по отдельным томам собраний сочинений Блока, Бальмонта, по чудом дошедшим до меня сборникам и другим разрозненным публикациям начала 1920-х гг.

С Громовым я часто обсуждала спектакли (он замечательно говорил о театре), но о литературе с ним нельзя было не спорить. Он щеголял своими неожиданными, оригинальными суждениями, очевидно желая произвести впечатление на наивного слушателя, привыкшего к мнениям университетских профессоров. Так, однажды он поверг меня в шок утверждением, что Гете как поэт и писатель не имеет серьезного значения, а его «Фауст» весь посвящен «какой-то уголовной истории».

Впоследствии я имела достаточно случаев убедиться, как решителен и опрометчив в своих суждениях бывает Павел Громов. Вместе с тем его острое перо было оценено, и он стал известен как критик.

Георгий Михайлович был моим советчиком, когда я делала первые шаги в работе над научными статьями. Мне нравилась его убежденность и уверенность в своих мнениях, взвешенность его советов. Но он был не единственным, к кому я обращалась с вопросами, чтобы укрепить уверенность в принимаемых мною решениях.

Илья Серман, мой товарищ по университету, сохранил со мной дружеские отношения и тогда, когда мы оба оказались в аспирантуре Академии наук. Уже в университете он охотно делился со мной своими сведениями, так как я нередко обращалась к нему за советом. Это продолжалось и в годы аспирантуры. Так что он, как и Фридендер, был моим советчиком. Эти мои советчики особенно сблизились в аспирантуре, и я часто опиралась на их мнения. Они были в дружеских отношениях между собой. Однажды, как я

вспоминаю, мы втроем даже побывали на спектакле «Трактирщица» Гольдони с участием блестящих актеров того времени В. П. Марецкой и Н. Д. Мордвинова. Илья Серман, который был на пару лет старше меня и знал меня с первого курса университета, когда я была совсем юной девушкой семнадцати-восемнадцати лет, сохранял в отношениях со мной несколько учительский тон. Поделившись своими обширными сведениями по какому-либо вопросу, он наставительно говорил: «Лидочка, надо знать такие вещи!». Это замечание, которым он нередко заканчивал свои «консультации», смущало меня. Но в целом, я в душе была согласна с Ильей, так как сознавала, что действительно в моих знаниях есть существенные пробелы.

С Г. М. и Ильей Серманом я встречалась и на некоторых других спектаклях, и на выставках в Эрмитаже и Русском музее.

Однажды во время одной из конференций, когда обстоятельные доклады утомили молодежь, присутствовавшую в этот раз не по собственному желанию, а по требованию дисциплины и указанию администрации, скучающие студенты обратили внимание на то, что на другой стороне зала чем-то развлекаются и «хихикают» Фридендер и Громов. Им была послана записка и оказалось, что их веселье вызвано тем, что они сочиняли пародию, уподобля наших преподавателей героям романа Достоевского «Братья Карамазовы». Создавая эти сравнительные характеристики-уподобления, они юмористически обобщали некоторые черты ученых и сближали их с чертами героев романа, не претендуя на полное сходство. Так, замечательного ученого академика А. С. Орлова, отличавшегося резкими высказываниями и ироническими замечаниями, они уподобили Федору Павловичу Карамазову, давая понять, что чувствуют в его шутках и скептицизме какие-то признаки цинизма; сравнив любимца студентов, блестящего профессора Г. А. Гуковского с героем Достоевского юным нигилистом Колей Красоткиным — «заводилой» и лидером гимназистов, они иносказательно выразили мысль о характере влияния талантливого ученого Гуковского на молодежь. В руководителе Фридендера В. В. Гиппиусе эти два аспиранта разглядели скрытые философские искания и трагические переживания, уподобив его Ивану Карамазову. И так далее.

У аспирантов и студентов того времени был острый интерес к личности профессоров. Через них мы видели поколение интеллигенции, которая предшествовала нам и о которой мы мало знали. Мы вообще мало знали о культуре начала XX в., его «серебряного» начала.

Молодость наших, еще совсем не старых, учителей зачастую была покрыта туманом скрытых, скрываемых обстоятельств, недоступных изданий, недомолвок, неопубликованных произведений. Кроме их лекций и семинаров их выступления, самое их присутствие, их вид, их поведение давали нам представление о другой среде и

эпохе, имели воспитательное значение. Я, как и другие аспиранты, посещала заседания группы «XVIII век», Пушкинской группы (впоследствии отдела) и Лермонтовской группы. Одно из заседаний этой последней врезалось мне в память на всю жизнь. Руководителем Лермонтовской группы был Б. М. Эйхенбаум. На этом заседании обсуждался стихотворный перевод поэмы А. Виньи «Элоа». Поэма эта и ее перевод обсуждались, потому что ее фантастический сюжет был схож с «Демоном» Лермонтова и, очевидно, был ему известен. В. В. Гиппиус — автор перевода поэмы с французского на русский язык — зачитал вслух ее перевод. В обсуждении перевода приняли участие кроме руководителя Б. М. Эйхенбаума присутствовавшие: Б. В. Томашевский, А. А. Ахматова, М. М. Лозинский, В. М. Жирмунский и другие ученые, поэты и переводчики. Мы не знали наизусть текста поэмы, и детали обсуждения подчас для нас пропадали, но общий дух обсуждения, тонкое проникновение его участников в стиль каждого из поэтов: французского — Виньи и русского — Лермонтова, меткость их замечаний, остроумие возражений, изящество аргументации доходили до нас, и мы были покорены высокой культурой этой беседы, которая была далека от нашего повседневного общения. Г. М. Фридендер, конечно, был среди нас. Запомнились и некоторые Пушкинские конференции, на которые съезжались ученые и преподаватели со всей страны.

Очень интересны были заседания группы «XVIII век», которыми руководил сначала Г. А. Гуковский (во время нашей аспирантуры) и позднее П. Н. Берков. Здесь читались доклады не только на общие темы, но и на частные, конкретные темы этой дальней литературной эпохи. Эти «частности» особенно ощутимо приближали к нам «дела давно минувших лет». После П. Н. Беркова группой руководил наш товарищ по университету Г. П. Макогоненко.

Большое впечатление производили некоторые «разрозненные» заседания, посвященные какому-либо литературному или культурному явлению, событию или писателю, как например редкие и не поощрявшиеся администрацией заседания, посвященные Блоку.

Помню, как всех нас взволновала встреча с артистами Московского Камерного театра во главе с его руководителем А. Я. Таировым и ведущей актрисой театра А. Г. Коонен. Камерный театр был в Ленинграде на гастролях. Театр этот все время подвергался пристрастной критике и нуждался в поддержке. Павел Громов и Фридендер — оба восхищались им и одобряли, что Пушкинский Дом принял театр, который отрицательно оценивался официальной критикой, и дал возможность руководителям театра ответить на критику и высказать принципы своей деятельности.

Я была вполне согласна с этими молодыми философами, так как была потрясена А. Коонен в роли мадам Бовари, всем этим спектаклем Камерного театра, интересовалась другими его спектаклями и

купила билеты на все гастроли. Но прежде чем театр закончил свои гастроли и покинул Ленинград, произошло событие, которое жестоко ударило по нашей жизни и перевернуло все наши настроения и впечатления, — началась война. Все, что казалось самым важным в жизни, утеряло смысл, на первый план вышли новые тревоги и обязанности, новые настроения и мысли. Я мало здесь говорила о ежедневных трудностях и бедах, которые сопровождали нас в нашей повседневности, но с момента начала войны эти «мирные» беды как бы уменьшились в весе, хотя их масштаб был значительным. Война открыла перед нами угрозу огромных бедствий, касающихся не отдельного человека, а всей страны, всего народа.

Во все годы нашей юности нам внушали, что эпоха империализма с ее особенностями делает неизбежной новую мировую войну, но перед началом войны эти утверждения стали вдруг сходить на нет, газеты и радиосообщения приобрели исключительно мирный и благополучный характер. Немало потом потрудились историки и политики, объясняя, как получилось, что война явилась для народа, властей и даже военных неожиданностью. Во время одного из научных заседаний, сидя в последнем ряду малого конференц-зала рядом с другими аспирантами, я неожиданно для себя громко и уверенно сказала: «Пройдет, может быть, всего несколько дней, и мы уже никогда не встретимся в этом зале этим же составом». Те, кто сидел близко, удивленно поглядели на меня. Надо сказать, что я сама тоже удивилась. Эти слова я произнесла как бы не намеренно. Очевидно, во мне заговорила внутренняя неосознанная тревога. К сожалению, они оказались «пророческими». Многих друзей и товарищей мы потеряли, погибло и много близких нам людей — граждан Ленинграда и ученых Пушкинского Дома. Георгий Михайлович прошел своей, особенной дорогой потерь и страданий. Аспирантов Пушкинского Дома в начале блокады уволили. Я успела участвовать в работах по охране здания Пушкинского Дома, в других мероприятиях, связанных с охраной и подготовкой к военному нападению на город, затем ушла работать в госпиталь, а позже в детский дом, куда стали собирать ленинградских детей, потерявших родителей. Изредка мне удавалось посещать Пушкинский Дом. Я участвовала в дежурствах, дежурила с Б. М. Эйхенбаумом, М. К. Клеманом, Н. И. Мордовченко, Д. С. Лихачевым. В одно из таких посещений я говорила с В. В. Гиппиусом — это было незадолго до его смерти. Я не понимала, как он близок к смерти, а он, как мне теперь кажется, чувствовал, что силы его кончаются, и это было подтекстом нашего общения.

О горестях и трудностях, которые пришлось пережить Г. М., я узнала через много месяцев после начала войны. В конце войны в канцелярии Пушкинского Дома я обратила внимание на высокую пожилую даму, внешность, одежда и манеры которой внушали

мысль о том, что она принадлежит к кругу людей «старого воспитания» и живет или жила до войны благополучно, в хороших условиях. Я спросила у секретаря дирекции, кто эта дама, и узнала, что это мать Фридлиндера, которая хлопочет за сына, оказавшегося в заключении, собирает справки, добываясь его освобождения. Арестован Г. М. был потому, что в его паспорте в графе «национальность» стояло «немец». В хлопотах матери Г. М., которая совсем не походила на «просительницу», приняли участие авторитетные ученые: известные организаторы и редакторы знаменитой серии сборников «Литературное наследство» И. С. Зильберштейн и С. А. Макашин, М. А. Лифшиц и другие историки и литературоведы, которые знали его как ученого-комментатора и текстолога. Президиум Академии наук поддержал эти ходатайства и в конце концов он был освобожден. Но, оказавшись на свободе, Г. М. снова испытал трудности. Его мать — Анжель Морисовна — после хождения по кабинетам начальников, от которых зависела судьба ее сына, перенесла тяжелый инсульт, и Г. М. оказался без средств к существованию с больной матерью на руках. На работу его не брали как репрессированного. Но Г. М. не только не потерял веры в себя в этих тяжелых обстоятельствах, но испытал взрыв энергии. Обладая исключительными деловыми и профессиональными качествами, он в короткий срок возобновил все связи, которые успел завязать в годы студенчества и аспирантуры. Научный руководитель его в аспирантуре, с которым он был хорошо знаком уже как участник его семинара, В. В. Гиппиус до войны ввел его в круг членов редколлегии академического собрания сочинений Гоголя, посвятил его в работу, которую вели эти ученые, а может быть, и привлек в какой-то форме к этой работе. После освобождения Г. М. напомнил членам редколлегии о себе и был охотно допущен к участию в этой работе. В. В. Гиппиус умер в блокаду, но уважение к нему как главному редактору издания было живо в чувствах его коллег, к тому же Г. М. был объективно достоин стать участником этого проекта. Вскоре необходимость привлечения новых сотрудников к этой работе еще более возросла. Умер прекрасный ученый, осуществлявший после смерти Гиппиуса часть его работы, — Н. И. Мордовченко.

В подготовке планового задания — академического собрания сочинений классика образовалось значительное отставание. Я была как сотрудница Института привлечена к подготовке значительной части текстов и комментариев 8-го тома, другую часть этого тома готовили Г. М. Фридлиндер и ученица Н. И. Мордовченко О. Б. Билинкис — молодая девушка, исключительно самоотверженно трудившаяся, как и Г. М., на договорных началах.

Так мы — я и Г. М. Фридлиндер — оказались сотрудниками в общей работе, к тому же работе срочной и ответственной.

Обстановка в обществе этих лет была напряженной и, можно сказать, истерической. Среди разного рода нападений на самые успешные и прогрессивные направления и школы в науке была одна отрасль, достижения которой непосредственно соприкасались с проблемами текстологии и которая подвергалась тотальной критике. В этой области в Ленинграде сформировалась сильная и оригинальная школа, в ее духе мы работали, готовя тексты, варианты этих текстов, сохранившиеся в рукописях писателя, и комментарии к ним. Как известно, наука не может развиваться без споров. Пристрастные критики спекулировали на этом и, раздувая малейшие расхождения во взглядах ученых, внушали читателям, а более всего чиновникам, приставленным «надзирать» за наукой, уверенность в том, что в науке существует единственная непререкаемая точка зрения, а все, кто ее подвергает критике, сознательно вредят стране. Под этим углом зрения тщательно проверялись все работы текстологов и «бдительные» критики делали карьеры.

«Работа требует своего времени», — нигде этот афоризм не оправдывается так, как при изучении рукописей писателя.

Нам пришлось «догонять время», потерянное из-за болезни и гибели крупнейших ученых, которые начинали работу над Полным собранием сочинений Гоголя. Мы сознавали свою ответственность перед наукой и читателями и работали честно и самоотверженно, но директор института, которого высшие инстанции постоянно упрекали за задержку томов издания, обращал свой гнев на нас и, чтобы ускорить работу, учредил над нами надзор и слежку. К тому же ему не нравились наши анкетные данные. Мы «засорили» его кадры. Техническому сотруднику, человеку очень добросовестному, но робевшему перед начальством, он поручил ежедневно докладывать, сколько листов мы сделали за день; одна ученая дама, работавшая рядом с нами, по собственному желанию, постоянно доносила директору, что, по ее мнению, я «не так делаю», и он вызывал меня к себе в кабинет и пробовал кричать на меня. Я отвечала ему очень сдержанно и объясняла, почему и как я тот или другой вопрос решаю, после чего он менял тон. Мне больше, чем другим участникам этой текстологической группы, «доставалось» еще и потому, что мне пришлось готовить поздние моралистические и религиозные произведения Гоголя, которые оценивались как реакционные. Одно произведение в этом роде, «Божественная литургия», вообще категорически не пропустила цензура. В отношении других произведений, в частности в отношении известной книги «Выбранные места из переписки с друзьями», были сделаны строгие предписания выявить в комментариях их реакционную суть. Мало того, для полноты разоблачения этой «сути» надо было в приложении к тому поместить известное письмо Белинского к Гоголю, содержащее критическую оценку этого произведения. Несмотря на подобные требо-

вания и необходимость осуществить работу в очень сжатые сроки, сама по себе эта работа была интересна и поучительна. Из библиотеки Ленина в Москве нам была выслана подлинная рукопись Гоголя. Такая рукопись — почти присутствие автора. Это живая связь с ним. Тут содержались и исправления самого Гоголя, и замечания и исправления, сделанные рукой редактора П. А. Плетнева, и пометы и вычеркивания цензурного характера. Все это давало материал для осмысления хода работы Гоголя над произведением и для того, чтобы сопоставить процесс опубликования книги с ее дальнейшей судьбой и особенностями восприятия ее читателями.

Я очень беспокоилась за сохранность рукописи. На ночь мы прятали ее в особый старинный шкафчик, который находился в машинописном бюро и закрывался на очень замысловатый замок. Я говорила машинисткам, что беспокоюсь за рукопись, и машинистки успокаивали меня: «Что вы! Мы здесь даже пальто оставляем!». Маш. бюро тоже закрывалось отдельным ключом. Срочность работы вынуждала нас работать и вечером, вплоть до ночи. Считывать текст мне помогала сотрудница издательского отдела института Е. М. Хмелевская. Она читала текст по изданию сочинений Гоголя 1894 г., а я сверяла его по рукописи Гоголя.

Дежурная, сидевшая ночью на вахте в вестибюле, утром ходила к директору в кабинет и извещала его, что Лотман и Хмелевская по ночам подозрительно читают «божественное». Правда, директор на эти доносы, очевидно, все же не реагировал.

Днем я, Оля Билинкис и Г. М. Фридендер занимались в читальном зале архива (Рукописного отдела института). Г. М., участвуя в работе над 8-м томом, большую часть своего времени посвящал подготовке 9-го тома, где, как предполагалось, он станет главным редактором. Он работал, не подымая головы от стола, и, хотя мы мало с ним общались в этот период, я каким-то необъяснимым чувством поняла, что он надеется преодолеть все препятствия и поступить в Пушкинский Дом на постоянное место работы. Поистине он был «стойким оловянным солдатиком».

Действительно, через сравнительно небольшой срок встретившись со мной в зале, через который мы шли в читальный зал архива, Б. В. Томашевский, возглавлявший редакцию Полного собрания сочинений Гоголя и редактировавший 8-й том, обратился ко мне с вопросом: «Что вы можете сказать о Фридендере?».

Я ответила: «Он эрудит, редкий в нашем поколении, и очень хороший работник — ответственный, квалифицированный и исключительно трудолюбивый».

Я предполагаю, что, задавая мне этот вопрос, Б. В. Томашевский уже сам определил свое отношение к Фридендеру, так как к этому времени он стал его энергично привлекать к тем трудам, которыми руководил. Так, уже в 9-м томе ПСС Гоголя, который вышел вслед

за нашим 8-м (редактор Томашевский), редактором был назначен Георгий Михайлович. Привлек Томашевский его к участию в хрестоматии «Русские писатели о языке» (1954). Но желание Томашевского узнать мое мнение о человеке, которому он помогал, было для меня лестно. Я очень уважала Бориса Викторовича, во многом училась у него, и характеристику Фридлендера дала ему «в его духе» — кратко, объективно и деловито. Однако стать сотрудником Пушкинского Дома Г. М. смог только в 1955 г., несколько лет спустя.

Аналитический ум и здравый смысл Г. М. подсказали ему, что развязка его тяжелого материального положения и социальной неустроенности может исходить только из московских учреждений и лиц, имеющих влияние в Москве. Вмешательство москвичей действительно положительно воздействовало на ситуацию. Предложение от солидного и уважаемого учреждения — издательства «Советская энциклопедия» стать постоянным его сотрудником упрочило материальное положение Г. М. — состоятельным человеком он в то время, конечно, не стал, но страх нужды отступил.

Участие Г. М. в работах издательства «Советская энциклопедия» придало ему новый авторитет в ученой среде. Оно оживило его известность и снова продемонстрировало научной общественности сильные стороны его таланта: обширную эрудицию, дар систематизации, ясность оценок и умение кратко и точно излагать свои мысли и литературный материал. При этом он не должен был пребывать в Москве и мог предоставлять свои работы, выполняя их в Ленинграде. Это последнее условие было для него очень важно, так как он был связан с Ленинградом деловыми отношениями (выполнял здесь многие работы, в частности в Пушкинском Доме — Институте русской литературы) и заботами о больной матери. Он проявлял исключительную работоспособность и в эти годы непрерывно расширял круг своих научных занятий. В это время в его творческих помыслах все чаще и чаще стал возникать Ф. М. Достоевский. Конечно, в наши студенческие годы он, как и многие другие, размышлял о Достоевском и либо защищал его от собеседников, либо внутренне спорил с ним, не соглашаясь с его религиозно-церковным идеалом и с его суровым анализом человеческой природы — уж очень ему, как и всем нам, не хотелось расставаться с привычной просветительской формулой «человек от природы добр». Но в годы, когда ему пришлось активно бороться за свое существование и отвечать за благополучие близкого человека, — на него обрушилась необходимость давать общие формулы-оценки значения Достоевского как русского классика на фоне официального осуждения и отторжения этого писателя от русской культуры. Издательство, которое дало ему профессиональное пристанище, поручило ему написать «руководящую» статью о Достоевском. Отказаться от этого поручения он не мог, хотя оно носило не столько библиографический, справочный

характер, сколько «дипломатический». Статья в Большой советской энциклопедии читалась как по всей стране, так и за ее пределами и давала как бы авторитетный вектор того, как оценивают творчество Достоевского в СССР. Так что внимание к ней проявляли разные читатели с разных позиций. Между тем эта статья должна была соответствовать официальной точке зрения на писателя или во всяком случае слишком явно ей не противоречить.

Что бы ни делал Фридлендер, он исполнял свою работу очень серьезно, прилагая все свои научные силы и все свое литературное умение. Он удачно справился со сложным поручением, и текст его был принят без принципиальных возражений. Однако желание более обстоятельно и адекватно дать свою оценку творчества Достоевского овладело его помыслами, увлекло его. Он стал усиленно заниматься изучением наследия писателя. Летом на даче в Зеленогорске я, гуляя с ребенком в парке, заставала его на скамейке с книгами и статьями о Достоевском. Было ясно, что он готовит большую работу о писателе. И действительно, вскоре из-под его пера вышли и были напечатаны статьи, посвященные отдельным романам и проблемам творчества этого знаменитого автора, а затем появилась и обобщающая идея и оценка творчества писателя, которые сложились у Фридлендера как плод его исследований и размышлений: монография «Реализм Достоевского» (1964).

Достоевский как объект изучения и интерпретации занял центральное место в творческой деятельности ученого.

Он проявил себя и как организатор исследований, возглавив в Пушкинском Доме Группу по изучению творчества Достоевского, и как редактор, организовавший периодическое издание сборников «Достоевский. Материалы и исследования» и редактировавший книги этой серии.

Наиболее значимым достижением Г. М. Фридлендера в работе над изучением творчества Достоевского стало многолетнее и весьма продуктивное его участие в подготовке и редактировании томов Полного академического собрания сочинений писателя. В подготовке этого издания участвовала большая группа ученых — текстологов и комментаторов. Георгий Михайлович принимал участие в этом коллективном труде как историк литературы, текстолог, комментатор и ученый-консультант. Он был своего рода контрольным редактором всех томов этого многотомного издания: читал, апробировал и пропускал через свое рассмотрение и оценку содержание каждого тома. В этом качестве он был незаменим.

Б. В. Томашевский — мастер такой работы — утверждал, что сколько бы ни значилось членов редколлегии на обложке томов издания сочинений классика, фактически должен быть один ответственный редактор. Таким редактором в Полном академическом собрании сочинений Ф. М. Достоевского был Г. М. Фридлендер.

Руководя этим изданием, обогащая науку о писателе и ученых, которые занимались этим большим трудом, он обогащался и сам.

В монографии «Достоевский и мировая литература» (1979) Г. М. Фридлендер опирается на свою более раннюю книгу «Реализм Достоевского» (1964), однако опыт многолетнего изучения произведений писателя, работы над Полным собранием его сочинений, исследования рукописей, в которых отражен ход мыслей их автора, — все это дало ученому материал для основательно-го углубления своего взгляда на творчество Достоевского. В главах, посвященных анализу эстетики и мировоззрения писателя и носящих теоретический характер, более, чем в историко-литературных частях книги, была ощутима приверженность автора к идеям, которые сформировались в его сознании в процессе изучения эстетики Маркса и Энгельса.

Но именно конкретные исследования отдельных проблем творчества Достоевского и откликов на его творчество в современной ему литературе, содержащиеся в отдельных главах книги, вызывали живой интерес и обсуждение в научной среде. Монографии «Достоевский и мировая литература» была присуждена Государственная премия.

Даря мне эту книгу, Георгий Михайлович надписал на ее шмуц-титуле: «Дорогой Лидии Михайловне Лотман с постоянной и верной дружбой. 3/VII.79». Такие уверения стали все чаще звучать с годами в письменных обращениях его ко мне наряду с «покаянными», самокритичными выражениями, содержащими намеки на то, что я имею основания обижаться на него, вроде: «От Фридлендера, любящего критику в своих устах, но не любящего в чужих», «Дорогой Лидии Михайловне Лотман от ее изверга-редактора. Фридлендер. 1/III-73» и т. д. Несмотря на шутивную форму, в таких надписях присутствовало признание какой-то своей вины и просьба не сердиться на проявления невежливости. В общении не только со мной, но и с другими участниками совместных трудов Г. М. часто «срывался», проявлял раздражение, вызванное совсем другими, посторонними раздражителями. По природе он был человеком добрым и отличался живым интересом к коллегам. У него был широкий круг знакомых в научной среде Ленинграда и Москвы, и он был равнодушен к их интересам, успехам и личным отношениям. Сотрудники Института, которым приходилось с ним постоянно общаться, иногда обижались на неожиданные «вспышки», которые он себе позволял, но знали, что он — человек, переживающий подобные столкновения, раскаивающийся в своей «неосторожности» и в других случаях способный помочь товарищам в их домашних бедах и трудностях, о которых он обычно знал.

Личность человека — величина далеко не однозначная. Она, как и человеческое общество, богата неосуществленными возможностям-

ми, проявление которых провоцируется обстоятельствами. Завися от общества и вместе с тем влияя на историю своего времени, человек постоянно ведет с этим временем сложный «диалог», подчиняясь его велениям или ломая его требования и запросы.

А. С. Пушкин в стихотворении, посвященном юбилейной дате основания Царскосельского лицея, обращаясь к своим товарищам-лицейстам, высказал глубоко продуманную и прочувствованную им мысль:

Всему пора: уж двадцать пятый раз
Мы празднуем Лицея день заветный.
Прошли года чредою незаметной,
И как они переменили нас!
Недаром — нет! — промчалась четверть века!
Не сгуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вокруг человека,—
Ужель один недвижим будет он?⁴

Каждый читатель этих стихов на основании своего личного опыта должен признать справедливость умозаключений поэта. Говорит ли Пушкин о быстротечности прожитого его поколением времени или о потрясениях и вопросах, которые события эпохи поставили перед его сверстниками, — это не может не вызывать и у нашего современника сочувствия и воспоминаний о пережитых нашим поколением надеждах и разочарованиях.

Георгий Михайлович и я переживали драмы и трагедии своего времени, испытывали давление одних и тех же событий, работали в одних и тех же условиях, участвовали в общих трудах — все это стимулировало взаимопонимание, но не предопределяло единомыслия. Конечно, за долгий период нашего общения (около 50 лет) наши отношения менялись, но я неизменно ценила его как человека огромных способностей и знаний, признавала значение его добросовестной, упорной деятельности и его научный авторитет. Г. М. тоже относился с интересом к моим работам, что он неоднократно проявлял, редактируя труды, в которых я принимала участие, и обсуждая мои работы (в частности, он выступил с развернутым и очень содержательным отзывом о моей докторской диссертации, не будучи официальным оппонентом, на моей защите).

Особенно теплыми, дружескими были наши отношения в годы, когда мы испытывали большие трудности: Георгию Михайловичу не давали постоянной работы, и он был вынужден выполнять задания, требующие большой квалификации, по низким ставкам как временный сотрудник. Я же медленно продвигалась по службе и должна была довольствоваться сравнительно низкой зарплатой. В это время, живя по соседству на даче, мы «дружили семьями».

⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977. Т. 3. С. 341.

Престарелая и больная мать Георгия Михайловича в сопровождении приставленной к ней помощницы наносила визиты моей свекрови, и мать свекрови — бабушка — вела с нею церемонные «светские» беседы. При этом обе собеседницы нередко, забывая об условиях и условностях современной жизни, погружались в реалии прошедшего времени. Так, бабушка возвращалась мысленно к временам, когда она до революции жила в Сибири и с гордостью говорила, что к ее деду — богатому и уважаемому купцу ездили в гости лучшие люди города Енисейска и даже архиерей, благодаривший его за то, что он поставил ограду вокруг храма, который посещали извозчики с обозов, возивших продовольствие работникам в тайгу.

Г. М. слушал ее монологи со снисходительным вниманием, а когда бабушка задала моей свекрови (своей дочери) неожиданный вопрос: «Нюрка, какая здесь у нас река течет — Енисей, что ль?» и на ответ: «Нева!», бабушка возразила: «Нева? Что вдруг?», Г. М. смеялся вместе со всеми присутствовавшими. Другую реакцию у него вызывали некоторые неосторожные «откровения» его матушки, хотя он никогда не останавливал и не поправлял ее.

После того как она поделилась воспоминаниями о своих заграничных родственниках с разношерстной компанией наших посетителей, Г. М. резко вышел с веранды на крыльцо. Я, поняв, что он расстроен, последовала за ним, чтобы дать ему повод сказать мне откровенно, в чем причина его огорчения. Он сказал мне только: «И самое ужасное, что все это правда». В том, что рассказала Анжель Морисовна, ровным счетом не было ничего «ужасного». Но во всех анкетах была графа: «Есть ли у вас родственники за границей?». Все знали, что иметь родственников за границей — плохо. Это делало человека подозрительным. Г. М., только что освобожденный, что само по себе было достаточно редким фактом, не мог не вспомнить о проверках, через которые он прошел, и, очевидно, подумал о том, не нужно ли ему было в анкетах перечислить дальних родственников, и, что, наверно, он еще находится под надзором.

В те годы государственное общество «Знание» широко развернуло работу по просвещению рабочих и служащих и охотно привлекало ученых к чтению лекций на предприятиях и в учреждениях. Некоторым это не нравилось, так как приходилось задерживаться на службе, но собирались довольно большие аудитории, хотя уйти с этих лекций было возможно. Собравшиеся слушали лектора не без интереса и подчас даже задерживали его вопросами после лекции. Платили лектору за его выступление очень скромно, но все мы подрабатывали чтением этих лекций.

Однажды Г. М. с юмором, но не без некоторой тревоги рассказал мне, что, выступая с чтением лекции на каком-то заводе и сдав свой паспорт при входе дежурной вахтерше, он при возвращении после прочитанной лекции заметил, что она продолжает «изучать», а по-

просто читать, с трудом разбирая его имя в документе (до фамилии она так и не дошла). Его имя в паспорте значилось: «Эдгар-Гастон-Георг». Я не знала, что он является носителем столь пышного имени и невольно засмеялась, тем более что незадолго до того схожий эпизод произошел с моим братом, который в то время был студентом и тоже читал лекции. Он должен был по случаю юбилея известного и героического русского просветителя А. Н. Радищева прочесть лекцию о нем на заводе. Объявлявший о его лекции слушателям организатор сказал: «Сейчас нам товарищ Радищев прочтет лекцию» — и, обратившись к опешившему лектору, спросил: «О чем вы прочтете лекцию?». Так что моему брату, Ю. М. Лотману, пришлось начать свое выступление с опровержения слов того, кто его «объявил» аудитории.

Я рассказала Георгию Михайловичу об этом случае, он посмеялся вместе со мной и, очевидно, тучи, омрачившие на минуту его мысли, рассеялись.

Понятно, что при такой настороженности его привлекали сферы, где он был освобожден от тревоги и воспоминаний об общении с официальными кругами. Ближайшей такой «чистой сферой» были его взаимоотношения с детьми. Он искренне, трогательно любил детей и охотно общался с ними. Я и мой муж должны были ежедневно находиться на работе. Наша дочь оставалась с бабушкой и прабабушкой на даче. Георгий Михайлович, работавший дома на даче, заходил к ним по-соседски и брал ее на пляж. Он забавлял ее, называл водяной комар по-русски и *Wassermücke* по-немецки (ей было 7-8 лет, и она уже училась немецкому языку), сочинял для нее стихи и переводил их на немецкий язык.

Способность авторитетного академического ученого, весьма строгого и требовательного, уходить в мир детских интересов, игр и забав была оригинальной и неожиданной. Наш общий товарищ по аспирантуре Эрик Найдич сделал эту черту Фридлендера доминирующей в поэтической характеристике, посвященной ученому:

«Все, что обязательно — печально,
Но нельзя — знакомая семья...»
Ядовитой и чуть-чуть ортодоксальной
Речь была на кафедре твоя.
Много тем мы по дороге перетрагали...
Кировский проспект во всей красе.
Смех твой, как у Гофмана и Гоголя,
Только он — особенный совсем.
И, покончив с трудностями мнимыми,
Закупив обыкновенный торт,
Мы уже на детских именинах:
Шум и крики, искренний восторг.
Не волчком, искусственно заверченным
С детворой установилась связь,

А улыбкою застенчивой, доверчивой,
Что неудержимо родилась.
Вы пилоты с деревянным АНТом,
А под облаками Ленинград.
Как же нам не повторить за Кантом,
Что искусство — чистая игра.
В ход пошли и кисточки, палитры,
Составляют кубики, свистят.
Рыжий мальчик,
озорной и хитрый,
я не верю,
что тебе за пятьдесят.

Потребность в бесхитростном, открытом искреннем общении проявлялась и в то время, когда он, играя на даче с детьми и проигрывая в карточной игре «Акулина», надевал под детский смех платочек, и тогда, когда он, собирая грибы в компании, «завидовал» тем, кому удавалось найти большой белый гриб. Надо признать и то, что эта потребность давала о себе знать и во время моих случайных встреч с Георгием Михайловичем вне Пушкинского Дома на одной из линий его родного Васильевского острова и около университета. Он останавливал меня и вел со мной длинные откровенные разговоры на конкретные злободневные волновавшие его темы. Зная, в чем я могу не согласиться с ним, он упорно настаивал на своих решениях и своей точке зрения, заранее предвосхищая мои возможные возражения, и сердился, хотя я еще не успела ему возразить. Мы понимали друг друга с полуслова, и в этом тоже сказывалась та скрытая теплота товарищества, которая не покидала нас, хотя мы отдалялись друг от друга.

Г. М. всегда был решителен и настойчив, формулируя свои мнения. По мере того как он подымался по лестнице признания и служебных успехов, его уверенность в утверждении своего авторитета становилась все более заметной. На это обратил внимание такой «посторонний наблюдатель», т. е. человек «со стороны», «объективный», как румынский ученый А. Ковач. Он высоко ценил вклад Г. М. Фридендера в науку и вместе с тем отмечал как «срывы» «отсутствие гибкости» в научных спорах, прежде всего в полемике с М. М. Бахтиным, неспособность Г. М. признать частичную правоту ученого, который сформулировал другую, чем он сам, точку зрения на сложную проблему⁵ творчества Достоевского.

Меня не удивила «несговорчивость» Г. М. в споре с М. М. Бахтиным. Мне он тоже давал понять, что расхождение его с Бахтиным носит принципиальный характер, так как они являются последователями разных философских систем и их интерпретация творчества Достоевского опирается на их мировоззрение.

⁵ Pro memoria. С. 333.

А. Ковач, осуждая «упорство» Фридендера в споре с Бахтиным, в то же время высоко ценил его как философа-эстетика. Он пишет, что «сильнейшей стороной личности» ученого «был интерес к философии, эстетике. Это подняло его труды на класс выше сочинений простого историка литературы или теоретика сравнительного литературоведения».⁶

Подымая Г. М. над другими учеными-историками литературы и теоретиками сравнительного литературоведения, как это делал А. Ковач, нельзя не подчеркнуть, что Фридендер последовательно стоял на позициях марксизма.

Как многие другие эстетики, Г. М. искал «окончательных» ответов на вечные вопросы, которые ставили до него и в одно с ним время другие философы. В молодые годы он стремился сформулировать эти ответы в борьбе с вульгаризацией марксизма. Впоследствии он интерпретировал пути исторического развития литературы и искусства, опираясь на принципы «истинного марксизма», как они сложились в его сознании вследствие изучения наследия Маркса и Энгельса. При этом он неустанно трудился как историк литературы и исследователь проблем сравнительного литературоведения, и его частные труды, посвященные этим областям науки, получили признание в ученой среде.

Г. М. очень заботился о своей академической карьере, очевидно воспринимая ее как победу над несправедливыми препятствиями на своем пути. Он был достоин этой победы, и его усилия были оценены. Он получил высокое звание действительного члена Академии наук СССР, его книгу наградили Государственной премией, он был избран почетным председателем Международного общества по изучению Ф. М. Достоевского.

Благополучной была и его личная жизнь. После смерти матери он женился на красивой молодой девушке Нине Николаевне Петруниной, которая его любила и была заботливой и преданной ему женой. Он гордился ее красотой и успехами в науке и участвовал в совместных с нею научных трудах.

Казалось бы, на склоне лет судьба осыпала его всем, что могло сделать его счастливым человеком. Но он помрачнел, юмор, который составлял обаятельную черту его личности, исчез из его обращения с сослуживцами. Может быть, на его состояние влияли недомогания. Но мне кажется, что более всего его огорчало падение привлекательности и популярности идей, которым он посвятил многие свои труды и надежды. Во всяком случае, это не могло быть ему безразлично. У крупного человека всегда большие мечты и намерения, но судьбу и историю не переспоришь, а его «оппоненты» были из такого разряда.

⁶ Там же.